

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



ЧАПАЕВ И ПУСТОТА



Москва
2022

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П24

Художественное оформление серии
Алексея Клепнева

Дизайн макета *Алексея Дурасова*

Пелевин, Виктор Олегович.
П24 Чапаев и Пустота / Виктор Пелевин. — Москва :
Эксмо, 2022. — 384 с.

ISBN 978-5-04-154496-6

Роман «Чапаев и Пустота» сам автор характеризует так: «Это первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте». На самом деле оно происходит в 1919 году в дивизии Чапаева, в которой главный герой, поэт-декадент Петр Пустота, служит комиссаром. А также в наши дни. А также, как и всегда у Пелевина, в виртуальном пространстве, где с главным героем встречаются Кавабата, Шварценеггер, «просто Мария»...

По мнению критиков, «Чапаев и Пустота» является «первым серьезным дзен-буддистским романом в русской литературе».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Пелевин В.О., текст, 2022
© Клепнев А., иллюстрация
на переплете, 2022
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

ISBN 978-5-04-154496-6

Глядя на лошадиные морды
и лица людей, на безбрежный жи-
вой поток, поднятый моей волей
и мчащийся в никуда по багровой
закатной степи, я часто думаю: где
Я в этом потоке?

Чингиз-хан

Имя действительного автора этой рукописи, созданной в первой половине двадцатых годов в одном из монастырей Внутренней Монголии, по многим причинам не может быть названо, и она печатается под фамилией подготовившего ее к публикации редактора. Из оригинала исключены описания ряда магических процедур, а также значительные по объему воспоминания повествователя о его жизни в дореволюционном Петербурге (т.н. «Петербургский период»). Данное автором жанровое определение – «особый взлет свободной мысли» – опущено; его следует, по всей видимости, расценивать как шутку.

История, рассказываемая автором, интересна как психологический дневник, обладающий рядом несомненных художественных достоинств, и ни в коей мере не претендует на что-то большее, хотя порой автор и берется обсуждать предметы, которые, на наш взгляд, не нуждаются ни в каких обсуждениях. Некоторая судорожность повествования объясняется тем, что целью написания этого текста было не создание «литературного произведения», а фиксация механических циклов сознания с целью окончательного излечения от так называемой внутренней жизни. Кроме того, в двух или трех местах автор пытается скорее непосредственно указать на ум читателя, чем заставить его увидеть очередной слеplенный из слов фантом; к сожалению, эта задача слишком проста, чтобы такие попытки могли увенчаться успе-

хом. Специалисты по литературе, вероятно, увидят в нашем повествовании всего лишь очередной продукт модного в последние годы критического солипсизма, но подлинная ценность этого документа заключается в том, что он является первой в мировой культуре попыткой отразить художественными средствами древний монгольский миф о Вечном Невозвращении.

Теперь скажем несколько слов о главном действующем лице книги. Редактор этого текста однажды прочел мне танка поэта Пушкина:

*И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе
В какой-нибудь простой пастушьей песне,
Унылой и приятной.*

В переводе на монгольский словосочетание «отважная жертва» звучит странно. Но здесь не место углубляться в эту тему – мы только хотели сказать, что последние три строки этого стихотворения в полной мере могут быть отнесены к истории Василия Чапаева.

Что знают сейчас об этом человеке? Насколько мы можем судить, в народной памяти его образ приобрел чисто мифологические черты, и в русском фольклоре Чапаев является чем-то вроде знаменитого Ходжи Насреддина. Он герой бесконечного количества анекдотов, основанных на известном фильме тридцатых годов. В этом фильме Чапаев представлен красным кавалерийским командиром, который сражается с белыми, ведет длинные душевные разговоры со своим адъютантом Петькой и пулеметчицей Анкой и в конце тонет, пытаясь переплыть реку Урал во время атаки белых. Но к жизни реального Чапаева это не имеет никакого отношения, а если и имеет, то подлинные факты неизменно искажены домыслами и недомолвками.

Вся эта путаница связана с книгой «Чапаев», которая была впервые напечатана одним из парижских издательств на французском языке в 1923 году и со странной поспешностью переиздана в России. Не станем тратить времени на доказательства ее неаутентичности. Любопытствующий без труда обнаружит в ней массу неувязок и противоречий, да и сам ее дух – лучшее свидетельство того, что автор (или авторы) не имели никакого отношения к событиям, которые тщатся описать. Заметим кстати, что, хотя господин Фурманов и встречался с историческим Чапаевым по меньшей мере дважды, он никак не мог быть создателем этой книги по причинам, которые будут видны из нашего повествования. Невероятно, но приписываемый ему текст многие до сих пор воспринимают чуть ли не как документальный.

За этим существующим уже более полувека подлогом несложно увидеть деятельность щедро финансируемых и чрезвычайно активных сил, которые заинтересованы в том, чтобы правда о Чапаеве была как можно дольше скрыта от народов Евразии. Но сам факт обнаружения настоящей рукописи, как нам кажется, достаточно ясно говорит о новом балансе сил на континенте.

И последнее. Мы изменили название оригинального текста (он озаглавлен «Василий Чапаев») именно во избежание путаницы с распространенной подделкой. Название «Чапаев и Пустота» выбрано как наиболее простое и несуггестивное, хотя редактор предлагал два других варианта – «Сад расходящихся Петек» и «Черный бублик».

Посвящаем созданную этим текстом заслугу благу всех живых существ.

Ом мани падме хум.

*Урган Джамбон Тулку VII,
Председатель Буддийского Фронта
Полного и Окончательного Освобождения
(ПОО (б))*

1

Тверской бульвар был почти таким же, как и два года назад, когда я последний раз его видел — опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели те же неподвижные старухи; вверху, над черной сеткой ветвей, серело то же небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего Бога матрац.

Была, впрочем, и разница. Этой зимой по аллеям мела какая-то совершенно степная метель, и, попадись мне навстречу пара волков, я совершенно не удивился бы. Бронзовый Пушкин казался чуть печальней, чем обычно — оттого, наверно, что на груди у него висел красный фартук с надписью: «Да здравствует первая годовщина Революции». Но никакого желания иронизировать по поводу того, что здравствовать предлагалось годовщине, а революция была написана через «ять», у меня не было — за последнее время я имел много возможностей разглядеть демонический лик, который прятался за всеми этими короткими нелепицами на красном.

Уже начинало темнеть. Страстной монастырь был еле виден за снежной мглой. На площади перед ним стояли два грузовика с высокими кузовами, обтянутыми ярко-алой материей; вокруг колыхалась толпа, и долетал голос оратора — я почти ничего не разбирал, но смысл был ясен по интонации и пулеметному «р-р» в словах «пролетариат» и «террор». Мимо меня

прошли два пьяных солдата, за плечами у которых качались винтовки с примкнутыми штыками. Солдаты торопились на площадь, но один из них, остановив на мне наглый взгляд, замедлил шаг и открыл рот, словно собираясь что-то сказать; к счастью — и его, и моему — второй дернул его за рукав, и они ушли.

Я повернулся и быстро пошел вниз по бульвару, гадая, отчего мой вид вызывает постоянные подозрения у всей этой сволочи. Конечно, одет я был безобразно и безвкусно — на мне было грязное английское пальто с широким хлястиком, военная — разумеется, без кокарды — шапка вроде той, что носил Александр Второй, и офицерские сапоги. Но дело было, видимо, не только в одежде. Вокруг было немало людей, выглядящих куда более нелепо. К примеру, на Тверской я видел совершенно безумного господина в золотых очках, который, держа в руках икону, шел к черному безлюдному Кремлю — но никто не обращал на него внимания. Я же постоянно ловил на себе косые взгляды и каждый раз вспоминал, что у меня нет ни денег, ни документов. Вчера в привокзальном клозете я нацепил было на грудь красный бант, но снял его сразу же после того, как увидел свое отражение в треснутом зеркале; с бантом я выглядел не только глупо, но и вдвойне подозрительно.

Впрочем, возможно, что никто на самом деле не задерживал на мне взгляда дольше, чем на других, а виной всему были взвинченные нервы и ожидание ареста. Я не испытывал страха смерти. Быть может, думал я, она уже произошла, и этот ледяной бульвар, по которому я иду, не что иное, как преддверие мира теней. Мне, кстати, давно уже приходило в голову, что русским душам суждено пересекать Стикс, когда тот замерзает, и монету получает не паромщик, а некто в сером, дающий напрокат пару коньков (разумеется, та же духовная сущность).

О, в каких подробностях увидел я вдруг эту сцену! Граф Толстой в черном трико, широко взмахивая руками, катил по льду к далекому горизонту; его движения были медленны и торжественны, но двигался он быстро, так, что трехглавый пес, мчавшийся за ним с беззвучным лаем, никак не мог его догнать. Унылый красно-желтый луч неземного заката довершал картину. Я тихо засмеялся, и в этот самый момент чья-то ладонь хлопнула меня по плечу.

Я шагнул в сторону, резко обернулся, ловя в кармане рукоять нагана, и с изумлением увидел перед собой Григория фон Эрнена — человека, которого я знал с детских лет. Но боже мой, в каком виде! Он был с головы до ног в черной коже, на боку у него болталась коробка с маузером, а в руке был какой-то несуразный акушерский саквояж.

— Рад, что ты еще способен смеяться, — сказал он.

— Здравствуй, Гриша, — ответил я. — Странно тебя видеть.

— Отчего же?

— Так. Странно.

— Откуда и куда? — бодро спросил он.

— Из Питера, — ответил я. — А вот куда — это я хотел бы узнать сам.

— Тогда ко мне, — сказал фон Эрнен, — я тут рядом, один во всей квартирe.

Глядя друг на друга, улыбаясь и обмениваясь бессмысленными словами, мы пошли вниз по бульвару. За то время, пока мы не виделись, фон Эрнен отпустил бородку, которая сделала его лицо похожим на проросшую луковицу; его щеки обветрились и налились румянцем, словно несколько зим подряд он с большой пользой для здоровья катался на коньках.

Мы учились в одной гимназии, но после этого виделись редко. Пару раз я встречал его в петербургских литературных салонах — он писал стихи, напоминавшие не

то предавшегося содомии Некрасова, не то поверившего Марксу Надсона. Меня немного раздражала его манера нюхать на людях кокаин и постоянно намекать на свои связи в социал-демократических кругах. Впрочем, последнее, судя по его нынешнему виду, было правдой. Было поучительно видеть на человеке, который гораздо был в свое время поговорить о мистическом смысле Св. Троицы, явные знаки принадлежности к воинству тьмы — но, разумеется, в такой перемене не было ничего неожиданного. Многие декаденты вроде Маяковского, учув явнo адский характер новой власти, поспешили предложить ей свои услуги. Я, кстати, думаю, что ими двигал не сознательный сатанизм — для этого они были слишком инфантильны, — а эстетический инстинкт: красная пентаграмма великолепно дополняет желтую кофту.

— Как дела в Питере? — спросил фон Эрнен.

— А то сам не знаешь, — сказал я.

— Верно, — поскучнев, согласился фон Эрнен. — Знаю.

Мы свернули с бульвара, перешли мостовую и оказались у семиэтажного доходного дома прямо напротив гостиницы «Палас» — у дверей гостиницы стояли два пулемета, курили матросы и трепалась на ветру красная мулета на длинной палке. Фон Эрнен дернул меня за рукав.

— Глянь-ка, — сказал он.

Я повернул голову. На мостовой напротив подъезда стоял длинный черный автомобиль с открытым передним сиденьем и кургузой кабинкой для пассажиров. На переднее сиденье намело изрядно снега.

— Что? — спросил я.

— Мой, — сказал фон Эрнен. — Служебный.

— А, — сказал я. — Поздравляю.

Мы вошли в подъезд. Лифт не работал, и нам пришлось подниматься по темной лестнице, с которой еще не успели ободрать ковровую дорожку.

— Чем ты занимаешься? — спросил я.

— О, — сказал фон Эрнен, — так сразу не объяснишь. Работы много, даже слишком. Одно, другое, третье — и все время стараешься успеть. Сначала там, потом здесь. Кто-то же должен все это делать.

— По культурной части, что ли?

Он как-то неопределенно наклонил голову вбок. Я не стал расспрашивать дальше.

Поднявшись на пятый этаж, мы подошли к высокой двери, на которой отчетливо выделялся светлый прямоугольник от сорванной таблички. Дверь открылась, мы вошли в темную прихожую, и на стене немедленно задребезжал телефон. Фон Эрнен снял трубку.

— Да, товарищ Бабаясин, — заорал он в эбонитовую чашку. — Да, помню... нет, не присылайте... Товарищ Бабаясин, да не могу я, ведь смешно будет... Только представить — с матросами, это же позор... Что? Приказу подчиняюсь, но заявляю решительный протест... Что?

Он покосился на меня, и, не желая смущать его, я прошел в гостиную.

Пол там был застелен газетами, причем большинство из них было уже давно запрещено — видимо, в этой квартире сохранились подшивки. Видны были и другие следы прежней жизни — на стене висел прелестный турецкий ковер, а под ним стоял секретер в разноцветных эмалевых ромбах — при взгляде на него я сразу понял, что тут жила благополучная кадетская семья. У стены напротив помещалось большое зеркало. Рядом висело распятие в стиле модерн, и на секунду я задумался о характере религиозного чувства, которое могло бы ему соответствовать. Значительную часть пространства занимала огромная кровать под желтым балдахином. То, что стояло на круглом столе в центре комнаты, показалось мне — возможно, из

за соседства с распятием — натюрмортом с мотивами эзотерического христианства: литровка водки, жестяная банка от халвы в форме сердца, ведущая в пустоту лесенка из лежащих друг на друге трех кусков черного хлеба, три граненых стакана и крестообразный консервный нож.

Возле зеркала на полу валялись тюки, вид которых заставил меня подумать о контрабанде; пахло в комнате кисло, портянками и перегаром, и еще было много пустых бутылок. Я сел за стол.

Вскоре скрипнула дверь, и вошел фон Эрнен. Он снял кожанку, оставшись в подчеркнуто солдатской гимнастерке.

— Черт знает что поручают, — сказал он, садясь, — вот из ЧК звонили.

— Ты и у них работаешь?

— Избегаю как могу.

— Да как ты вообще попал в эту компанию?

Фон Эрнен широко улыбнулся.

— Вот уж что легче легкого. Пять минут поговорил с Горьким по телефону...

— И что, сразу дали маузер и авто?

— Послушай, — сказал он, — жизнь — это театр. Факт известный. Но вот о чем говорят значительно реже, это о том, что в этом театре каждый день идет новая пьеса. Так вот теперь, Петя, я такое ставлю, такое...

Он поднял руки над головой и потряс ими в воздухе, словно звеня монетами в невидимом мешке.

— Дело даже не в самой пьесе, — сказал он. — Если продолжить это сравнение, раньше кто угодно мог швырнуть из зала на сцену тухлое яйцо, а сейчас со сцены каждый день палят из нагана, а могут и бомбу кинуть. Вот и подумай — кем сейчас лучше быть? Актером или зрителем?

Это был серьезный вопрос.

— Как бы тебе ответить, — сказал я задумчиво. — Этот твой театр слишком уж начинается с вешалки. Ею же он, я полагаю, и кончается. А будущее, — я ткнул пальцем вверх, — все равно за кинематографом.

Фон Эрнен хихикнул и качнул головой.

— Но ты все же подумай над моими словами, — сказал он.

— Обещаю, — ответил я.

Он налил себе водки и выпил.

— Ух, — сказал он. — Насчет театра. Ты знаешь, кто сейчас комиссар театров? Мадам Малиновская. Вы ведь знакомы?

— Не помню. Какая еще к черту мадам Малиновская.

Фон Эрнен вздохнул. Встав, он молча прошелся по комнате.

— Петя, — сказал он, садясь напротив и заглядывая мне в глаза, — мы тут шутим, шутим, а я ведь вижу, что ты не в порядке. Что у тебя стряслось? Мы с тобой, конечно, старые друзья, но даже несмотря на это я мог бы помочь.

Я решил.

— Признаюсь тебе честно. Ко мне в Петербурге три дня назад приходили.

— Откуда?

— Из твоего театра.

— Как так? — подняв брови, спросил он.

— А очень просто. Пришли трое с Гороховой, один представился каким-то литературным работником, а остальным и представляться было не надо. Поговорили со мной минут сорок, работник этот в основном, а потом говорят — интересная у нас беседа, но продолжить ее придется в другом месте. Мне в это другое место идти не хотелось, потому что возвращаются оттуда, как ты знаешь, довольно редко...

— Но ты же вернулся, — перебил фон Эрнен.

— Я не вернулся, — сказал я, — я туда попросту не пошел. Я, Гриша, убежал от них. Знаешь, как в детстве от дворника.

— Но почему они к тебе пришли? — спросил фон Эрнен. — Ты же человек от политики далекий. Натворил что-нибудь?

— Да ничего я не натворил. Смешно рассказывать. Я одно стихотворение напечатал — с их точки зрения, в какой-то не такой газете — так вот там рифма была, которая им не понравилась. «Броневик» — «лишь на миг». Ты себе можешь это представить?

— А о чем было стихотворение?

— О, совершенно абстрактное. Там было о потоке времени, который размывает стену настоящего, и на ней появляются все новые и новые узоры, часть которых мы называем прошлым. Память уверяет нас, что вчерашний день действительно был, но как знать, не появилась ли вся эта память с первым утренним лучом?

— Не вполне понимаю, — сказал фон Эрнен.

— Я тоже, — сказал я, — не в этом дело. Главное, что я хочу сказать — никакой политики там не было. То есть мне так казалось. А им показалось иначе, они мне это объяснили. Самое страшное, что после беседы с их консультантом я действительно понял его логику, понял так глубоко, что... Это было до того страшно, что, когда меня вывели на улицу, я побежал — не столько даже от них, сколько от этого понимания...

Фон Эрнен поморщился.

— Вся эта история — чушь собачья, — сказал он. — Они, конечно, идиоты. Но ты и сам хорош. Это ты из-за этого в Москву приехал?

— Ну а что было делать? Я ведь, когда убежал, отстреливался. Ты-то понимаешь, что я стрелял в сотканный собственным страхом призрак, но ведь на Гореховой этого не объяснить. То есть я даже допускаю, что я смог бы это объяснить, но они бы обязательно

спросили — а почему, собственно, вы по призракам стреляете? Вам что, не нравятся призраки, которые бродят по Европе?

Фон Эрнен взглянул на меня и погрузился в размышления. Я смотрел на его ладони — он еле заметно тер их о скатерть, будто вытирая выступивший пот, а потом вдруг убрал под стол. На его лице отразилось отчаяние, и я почувствовал, что наша встреча и мой рассказ ставят его в крайне неприятное положение.

— Это, конечно, хуже, — пробормотал он. — Но хорошо, что ты доверяешь мне. Я думаю, мы это уладим... Уладим, уладим... Сейчас звякну Алексею Максимовичу... Руки на голову.

Последние слова я понял только тогда, когда увидел лежащее на скатерти дуло маузера. Поразительно, но следующее, что он сделал, так это вынул из нагрудного кармана пенсне и нацепил его на нос.

— Руки на голову, — повторил он.

— Ты что, — сказал я, поднимая руки, — Гриша?

— Нет, — сказал он.

— Что «нет»?

— Оружие и бумаги на стол, вот что.

— Как же я положу их на стол, — сказал я, — если у меня руки на голове?

Он взвел курок своего пистолета.

— Господи, — сказал он, — знал бы ты, сколько раз я слышал именно эту фразу.

— Ну что же, — сказал я. — Револьвер в пальто. Какой ты удивительный подлец. Впрочем, я это с детства знал. Зачем тебе все это? Орден дадут?

Фон Эрнен улыбнулся.

— В коридор, — сказал он.

Когда мы оказались в коридоре, он, по-прежнему держа меня на прицеле, обшарил карманы моего пальто, вынул оттуда револьвер и сунул его в карман. В его движениях была какая-то стыдливая суетливость, как

у впервые пришедшего в публичный дом гимназиста, и я подумал, что ему, может быть, до этого не приходилось делать подлость так обыденно и открыто.

— Отопри дверь, — велел он, — и на лестницу.

— Позволь пальто надеть, — сказал я, лихорадочно думая, могу ли я сказать этому возбужденному собственной низостью человеку хоть что-нибудь, способное изменить рисовавшееся развитие событий.

— Нам недалеко, — сказал фон Эрнен, — через бульвар. Хотя, впрочем, надень.

Я двумя руками снял с вешалки пальто, чуть повернулся, чтобы просунуть руку в рукав, и в следующий момент неожиданно для самого себя набросил его на фон Эрнена — не просто швырнул пальто в его сторону, а именно накинул.

До сих пор не пойму, как он меня не застрелил — но факт остается фактом: он нажал на курок, только когда падал на пол под тяжестью моего тела, и пуля, пройдя в нескольких сантиметрах от моего бока, ударила во входную дверь. Пальто накрыло упавшего фон Эрнена с головой, и я схватил его за горло прямо сквозь толстую ткань, но она почти не помешала; коленом я успел придавить к полу запястье его руки, сжимавшей пистолет, и перед тем, как его пальцы разжались, он всадил в стену еще несколько пуль. Я почти оглох от грохота. Кажется, во время нашей схватки я ударил его головой в накрытое лицо — во всяком случае, я отчетливо помню тихий хруст пенсне в промежутке между двумя выстрелами.

Когда он затих, я долго не решался отпустить его горло. Мои руки почти не подчинялись мне; чтобы восстановить дыхание, я сделал дыхательное упражнение. Оно подействовало странным образом — со мной сделалась легкая истерика. Я вдруг увидел эту сцену со стороны: некто сидит на трупе только что задушенного приятеля и старательно дышит по описанному в «Изи-

де» методу йога Рамачараки. Я поднялся на ноги, и тут на меня обрушилось понимание того, что я только что совершил убийство.

Конечно, как и любой не до конца доверяющий властям человек, я постоянно носил с собой револьвер, а два дня назад спокойно пустил его в ход. Но тут было другое, тут была какая-то темная достоевщина — пустая квартира, труп, накрытый английским пальто, и дверь во враждебный мир, к которой уже шли, быть может, досужие люди... Усилием воли я прогнал эти мысли — вся достоевщина, разумеется, была не в этом трупе и не в этой двери с пулевой пробойной, а во мне самом, в моем сознании, пораженном метастазами чужого покаяния.

Приоткрыв дверь на лестницу, я несколько секунд прислушивался. Ничего слышно не было, и я подумал, что несколько пистолетных выстрелов могли и не привлечь к себе внимания.

Мой револьвер остался в кармане брюк фон Эрнена, и мне совершенно не хотелось лезть за ним. Я подобрал и осмотрел его маузер — это была отличная машина, и совсем новая. Заставив себя обшарить его куртку, я обнаружил пачку «Иры», запасную обойму для маузера и удостоверение на имя сотрудника ЧК Григория Фанерного. Да, подумал я, да. А ведь еще в детстве можно было понять.

Присев на корточки, я открыл замки его акушерского саквояжа. Внутри лежала канцелярская папка с незаполненными ордерами на арест, еще две обоймы, жестяная банка, полная кокаина, какие-то медицинские щипцы крайне неприятного вида (их я сразу швырнул в угол) и толстая пачка денег, в которой с одной стороны были радужные думские сотни, а с другой — доллары. Все это было очень кстати. Чтобы немного прийти в себя после пережитого потрясения, я зарядил ноздри изрядным количеством кокаина. Он

бритвой полоснул по мозгам, и я сразу сделался спокоен. Я не любил кокаин — он делал меня слишком сентиментальным, но сейчас мне нужно было быстро прийти в себя.

Подхватив фон Эрнена под руки, я поволок его по коридору, пинком открыл дверь одной из комнат и собирался уже втощить его туда, но замер в дверях. Несмотря на разгром и запустение, здесь еще видны были следы прежней, озаренной довоенным светом жизни. Это была бывшая детская — у стены стояли две маленькие кровати с легкими бамбуковыми ограждениями, а на стене углем были нарисованы лошадь и усатое лицо (отчего-то я подумал о декабристах). На полу лежал красный резиновый мяч — увидев его, я сразу закрыл дверь и потащил фон Эрнена дальше. Соседняя комната поразила меня своей траурной простотой: в ее центре стоял черный рояль с открытой крышкой, рядом — вращающийся стул, и больше не было ничего.

К этому моменту мною овладело новое состояние. Оставив фон Эрнена полусидеть в углу (все время транспортировки я тщательно следил, чтобы его лицо не показалось из-за серой ткани пальто), я сел за рояль. Поразительно, подумал я, товарищ Фанерный и рядом, и нет. Кто знает, какие превращения претерпевает сейчас его душа? Мне вспомнилось его стихотворение, года три назад напечатанное в «Новом Сатириконе» — там как бы пересказывалась газетная статья о разгоне очередной Думы, а акростихом выходило «мане текел фарес». Ведь жил, думал, прикидывал. Как странно.

Я повернулся к роялю и стал тихо наигрывать из Моцарта, свою любимую фугу фа минор, всегда заставлявшую меня жалеть, что у меня нет тех четырех рук, которые грезились великому сумасброду. Охватившая меня меланхолия не имела отношения к эксцессу с фон Эрненом; перед моими глазами встали бамбуковые кро-

ватки из соседней комнаты, и на секунду представилось чужое детство, чей-то чистый взгляд на закатное небо, чей-то невыразимо трогательный мир, унесшийся в небытие. Но играл я недолго — рояль был расстроен, а мне, вероятно, надо было спешить. Но куда?

Пора было подумать о том, как провести вечер. Я вернулся в коридор и с сомнением поглядел на кожанку фон Эрнена, но ничего больше не оставалось. Несмотря на рискованность некоторых своих литературных опытов, я все же был недостаточно декадентом, чтобы надеть пальто, уже ставшее саваном и к тому же простреленное на спине. Сняв куртку с вешалки и подобрав саквояж, я пошел в комнату, где было зеркало.

Кожанка пришлась мне впору — мы с покойником были практически одного роста. Когда я перетянул ее ремнем с болтающейся кобурой и посмотрел на свое отражение, я увидел вполне нормального большевика. Полагаю, что осмотр лежавших у стены тюков мог за несколько минут сделать меня богатым человеком, но победила брезгливость. Тщательно перезарядив пистолет, я проверил, легко ли он выскакивает из кобуры, остался доволен и уже собирался выйти из комнаты, когда из коридора послышались голоса. Я понял, что все это время входная дверь оставалась открытой.

Я кинулся к балкону. Он выходил на Тверской бульвар, и под ним было метров двадцать холодной темной пустоты, в которой крутились снежинки. В пятне света от фонаря был виден автомобиль фон Эрнена, на переднем сиденье которого сидел непонятно откуда взявшийся человек в большевистском шлеме. Я решил, что фон Эрнен успел вызвать по телефону чекистов. Перелезть на нижний балкон было невозможно, и я кинулся назад в комнату. В дверь уже барабанили. Ну что же — когда-нибудь все это должно было кончиться. Я навел на дверь маузер и крикнул:

— Прошу!

Дверь открылась, и в комнату ввалились два увешанных бутылочными бомбами матроса в бушлатах и развратнейше расклешенных штанах. Один из них, с усами, был уже в годах, а второй был молод, но с дряблым и анемичным лицом. Никакого внимания на пи-столет в моей руке они не обратили.

— Ты Фанерный? — спросил тот, что был постарше и с усами.

— Я.

— Держи, — сказал матрос и протянул мне сложенную вдвое бумажку.

Я спрятал маузер в кобуру и развернул ее:

«Тов. Фанерный! Немедленно поезжайте в музыкаль-ную табакерку провести нашу линию. Для содействия по-сылаю Жербунова и Барболина. Товарищи опытные. Ба-баясин».

Под текстом была неразборчивая печать. Пока я ду-мал, что мне говорить, они сели за стол.

— Шофер внизу — ваш? — спросил я.

— Наш, — сказал усатый. — А машину твою возьмем. Тебя как звать?

— Петр, — сказал я и чуть не прикусил язык.

— Я Жербунов, — сказал пожилой и усатый.

— Барболин, — представился молодой. Голос у него был нежный и почти женский.

Я сел за стол напротив них. Жербунов налил три стакана водки, подвинул один ко мне и поднял на меня глаза. Я понял, что он чего-то ждет.

— Ну что, — сказал я, берясь за свой стакан, — как говорится, за победу мировой революции!

Мой тост не вызвал у них энтузиазма.

— За победу оно конечно, — сказал Барболин, — а марафет?

— Какой марафет? — спросил я.

— Ты дуручку не валяй, — строго сказал Жербунов, — нам Бабаясин говорил, что тебе сегодня жестянку выдали.

— Ах, так вы про кокаин говорите, — догадался я и полез в саквояж за банкой. — А то ведь «марафет», товарищи, слово многозначное. Может, вы эфиру хотите, как Вильям Джеймс.

— Кто такой? — спросил Барболин, беря жестянку в свою широкую и грубую ладонь.

— Английский товарищ.

Жербунов недоверчиво хмыкнул, а у Барболина на лице на миг отобразилось одно из тех чувств, которые так любили запечатлевать русские художники девятнадцатого века, создавая народные типы — что вот есть где-то большой и загадочный мир, и столько в нем непонятого и влекущего, и не то что всерьез надеешься когда-нибудь туда попасть, а просто тянет иногда помечтать о несбыточном.

Напряжение сняло как рукой. Жербунов открыл банку, взял со скатерти нож, зачерпнул им чудовищное количество порошка и быстро размешал его в водке. То же сделал и Барболин — сначала со своим стаканом, а потом с моим.

— Вот теперь и за мировую революцию не стыдно, — сказал он.

Видимо, на моем лице отразилось сомнение, потому что Жербунов ухмыльнулся и сказал:

— Это, браток, с «Авроры» пошло, от истоков. Называется «балтийский чай».

Они подняли стаканы, залпом выпили их содержимое, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру. Почти сразу же горло у меня онемело. Я закурил папиросу, затянулся, но совершенно не почувствовал вкуса дыма. Около минуты мы сидели молча.

— Идти надо, — сказал вдруг Жербунов и встал из-за стола. — Иван замерзнет.

В каком-то оцепенении я спрятал банку от монпансье в саквояж, встал и пошел за ними. Задержавшись в коридоре, я попытался найти свою шапку, не смог и нацепил фуражку фон Эрнена. Мы вышли из квартиры и молча пошли вниз по полутемной лестнице.

Я вдруг заметил, что на душе у меня легко и спокойно, и чем дальше я иду, тем делается спокойнее и легче. Я не думал о будущем — с меня было достаточно того, что мне не угрожает непосредственная опасность, и, проходя по темным лестничным клеткам, я любовался удивительной красоты снежинками, крутившимися за стеклом. Если вдуматься, я и сам был чем-то вроде такой снежинки, и ветер судьбы нес меня куда-то вперед, вслед за двумя другими снежинками в черных бушлатах, топавшими по лестнице впереди. Кстати, несмотря на охватившую меня эйфорию, я не потерял способности трезво воспринимать действительность и сделал одно интересное наблюдение. Еще в Петрограде меня интересовало, каким образом на матросах держатся их тяжелые, утыканые патронами сбруи. На клетке третьего этажа, где горела одинокая лампа, я разглядел на спине Жербунова несколько крючков, которыми, наподобие бюстгальтера, были соединены пулеметные ленты. Мне сразу представилось, как Жербунов с Барболиным, собираясь на очередное убийство, словно две девушки в купальне, помогают друг другу справиться с этой сложной частью туалета. Это показалось мне еще одним доказательством женственной природы всех революций. Я вдруг понял некоторые из новых настроений Александра Блока; видимо, из моего горла вырвался какой-то возглас, потому что Барболин обернулся.

— А ты не хотел, дура, — сказал он, сверкнув золотым зубом.

Мы вышли на улицу. Барболин что-то сказал солдату, сидевшему на открытом переднем сиденье машины, открыл дверь, и мы влезли внутрь. Машина сразу тронулась. Сквозь скругленное по краям переднее стекло кабинки была видна заснеженная спина и островерхий войлочный шлем; казалось, что нашим экипажем правит ибсеновский тролль. Я подумал, что конструкция авто крайне неудобна и к тому же унизительна для шофера, который всегда открыт непогоде — но, может быть, это было устроено специально, чтобы во время поездки пассажиры могли наслаждаться не только видами в окне, но и классовым неравенством.

Я повернулся к боковому стеклу. Улица была пуста, а падающий на мостовую снег — необыкновенно красив. Его освещали редкие фонари; в свете одного из них на стене дома мелькнуло размашистое граффити «LENINE EST MERDE».

Когда автомобиль затормозил, я уже немного пришел в себя. Мы вылезли на неизвестной улице возле ничем не примечательной подворотни, перед которой стояли пара автомобилей и несколько лихачей; поодаль я заметил устрашающего вида броневик со снежной шапкой на пулеметной башне, но не успел его рассмотреть — матросы сразу нырнули в подворотню. Пройдя невыразимо угнетающий двор, мы оказались перед дверью, над которой торчал чугунный козырек с завитками и амурами в купеческом духе. К козырьку была прикреплена небольшая вывеска:

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТАБАКЕРКА

литературное кафе

Несколько соседних с дверью окон, плотно затянутых розовыми занавесками, светились; из-за них доносился заунывно-красивый звук неясного инструмента.

Жербунов дернул дверь на себя. За ней открылся короткий коридор, увешанный тяжелыми шубами

и шинелями; в его конце был плотный бархатный занавес. Навстречу нам поднялся с табурета похожий на преступника человек в красной косоворотке.

— Граждане матросы, — начал он, — у нас...

Барболин цирковым движением крутанул вокруг плеча винтовку и ударил его прикладом в низ живота. Бедняга сполз по стене на пол; на его недобром лице проступили усталость и отвращение. Жербунов отдернул занавес, и мы вошли в полутемный зал.

Чувствуя необыкновенный прилив энергии, я огляделся по сторонам. Место напоминало обычный, с претензией на шик, ресторан средней руки. За небольшими круглыми столиками, в густых клубах дыма сидела пестрая публика. Кажется, кто-то курил опиум. На нас не обратили внимания, и мы сели за пустой столик недалеко от входа.

Зал кончался ярко освещенной эстрадой, где на черном бархатном табурете, закинув ногу за ногу, сидел бритый господин во фраке. Одна из его ног была боса. Смычок в его правой руке скользил по тупой стороне длинной пилы, одну ручку которой он прижимал ногой к полу, а другую сжимал в левом кулаке, заставляя пилу изгибаться и дрожать. Когда ему надо было погасить вибрации сверкающего полотна, он на секунду прижимал к нему босую стопу; рядом с ним на полу стояла лаковая туфля, из которой торчал ослепительно белый носок. Звук, который господин извлекал из своего инструмента, был совершенно неземным, чарующим и печальным; он, кажется, играл какую-то простую мелодию, но она была не важна — все дело было в тембре, в переливах одной надолго замирающей ноты, падавшей прямо в сердце.

Портьера у входа кольхнулась, и оттуда высунулся человек в косоворотке. Он щелкнул пальцами куда-то в темноту и кивнул на наш столик, потом повернулся к нам, отвесил короткий формальный поклон и ис-

чез за портьерой. Тотчас откуда-то вынырнул половой с подносом в одной руке и медным чайником в другой (такие же чайники стояли на других столах). На подносе помещалось блюдо с пирожками, три чайные чашки и крохотный свисток. Половой расставил перед нами чашки, наполнил их из чайника и замер в ожидании. Я протянул ему наугад вынутую из саквояжа бумажку — кажется, это была десятидолларовая банкнота. Сперва я не понял, зачем на подносе лежит свисток, но тут за одним из соседних столиков раздался тихий мелодичный свист, и половой кинулся на этот звук.

Жербунов отхлебнул из чашки и недовольно хмыкнул. Я тоже сделал глоток из своей. Это была ханжа, плохая китайская водка из гаоляна. Я принялся жевать пирожок, совершенно не чувствуя его вкуса — заморозивший мое горло кокаин еще давал себя знать.

— С чем пирожки-то? — нежно спросил Барболин. — Говорят, тут люди пропадают. Как бы не оскоромиться.

— А я ел, — просто сказал Жербунов. — Как говядина.

Больше не в силах этого выносить, я вынул банку, и Барболин принялся развешивать порошок по чашкам.

Между тем господин во фраке кончил играть, изящно и быстро надел носок и туфлю, встал, поклонился, подхватил табурет и под редкие хлопки ушел со сцены. Из-за столика возле эстрады поднялся благообразный мужчина с седой бородкой, вокруг горла которого, словно чтобы скрыть след от укуса, был обмотан серый шарф. Я с удивлением узнал в нем Валерия Брюсова, постаревшего и высохшего. Он взшел на эстраду и обратился к залу:

— Товарищи! Хотя мы и живем в визуальную эпоху, когда набранный на бумаге текст вытесняется зрительным рядом, или... хмм... — он закатил глаза, сделал паузу, и стало ясно, что сейчас он произнесет один из

своих идиотских каламбуров, — или, я бы даже сказал, зрительным залом... хмм... традиция не сдаётся и ищет для себя новые формы. То, что вы сегодня увидите, я определил бы как один из ярких примеров искусства эгопупистического постреализма. Сейчас перед вами будет разыграна написанная одним... хмм... одним пострелом... хмм... маленькая трагедия. Именно так ее автор, камерный поэт Иоанн Павлухин, определил жанр своего произведения. Итак — маленькая трагедия «Раскольников и Мармеладов». Прошу.

— Прошу, — эхом повторил Жербунов, и мы вышли.

Брюсов сошел с эстрады и вернулся за свой столик. Двое людей в военной форме вынесли из-за кулис на эстраду громоздкую позолоченную лиру на подставке и табурет. Затем они принесли столик, поставили на него пузатую ликерную бутылку и две рюмки, прикрепили к кулисам куски картона со словами «Раскольниковъ» и «Мармеладовъ» (я сразу решил, что мягкий знак на конце слова — не ошибка, а какой-то символ), а в центре повесили табличку с непонятным словом «йхвй», вписанным в синий пятиугольник. Разместив эти предметы, они исчезли. Из-за кулис вышла женщина в длинном хитоне, села за лиру и принялась неспешно перебирать струны. Так прошло несколько минут.

Затем на сцене появились четверо человек в длинных черных плащах. Каждый из них встал на одно колено и поднятой черной полкой заслонил лицо от зала. Кто-то зааплодировал. На противоположных концах эстрады появились две фигуры на высоких котурнах, в длинных белых хламидах и греческих масках. Они стали медленно сходитья и остановились, немного не дойдя друг до друга. У одного из них в увитой розами петле под мышкой висел топор, и я понял, что это Раскольников. Собственно, понять можно было и без топора, потому что на кулисах напротив него висела

табличка с фамилией. Актер, остановившийся у таблички «Мармеладовъ», медленно поднял руку и нараспев заговорил:

— Я — Мармеладов. Сказать по секрету,
мне уже некуда больше идти.
Долго ходил я по белому свету,
но не увидел огней впереди.
Я заключаю по вашему взгляду,
что вам не чужд угнетенный народ.
Может быть, выпьем? Налить вам?
— Не надо.

Актер с топором отвечал так же распевно, но басом; заговорив, он поднял руку и вытянул ее в сторону Мармеладова, который, быстро налив себе рюмку и опрокинув ее в отверстие маски, продолжил:

— Как вам угодно. За вас. Ну так вот,
лик ваш исполнен таинственной славы,
рот ваш красивый с улыбкой молчит,
бледен ваш лоб и ладони кровавы.
А у меня не осталось причин,
чтоб за лица неподвижною кожей
гордою силой цвела пустота,
и выходило на Бога похоже.
Вы понимаете?
— Думаю, да...

Меня пихнул локтем Жербунов.

— Чего скажешь? — тихо спросил он.

— Рано пока, — ответил я шепотом. — Дальше смотрим.

Жербунов уважительно кивнул. Мармеладов на сцене говорил:

— Вот. А без этого — знаете сами.
Каждое утро — как кровь на снегу.
Как топором по затылку. Представить
можете это, мой мальчик?

- Могу.
- В душу смотреть не имею желанья.
Там темнота, как внутри сапога.
Словно бы в узком холодном чулане —
мертвые женщины. Страшно?
- Ага. Что вы хотите? В чем цель разговора?
- Прямо так сразу?
- Валяйте скорей.
- Может, сначала по рюмке ликера?
- Вы надоедлив, как брадобрей.
Я ухожу.
- Милый мальчик, не злитесь.
- Мне надоел наш слепой разговор.
Может быть, вы наконец объяснитесь?
Что вы хотите?
- Продайте топор...

Я тем временем оглядывал зал. За круглыми столиками сидело по трое-четверо человек; публика была самая разношерстная, но больше всего было, как это всегда случается в истории человечества, свиных рылых спекулянтов и дорого одетых блядей. За одним столиком с Брюсовым сидел заметно потолстевший с тех пор, как я его последний раз видел, Алексей Толстой с большим бантом вместо галстука. Казалось, выросший на нем жир был выкачан из скелетоподобного Брюсова. Вместе они выглядели жутко.

Я перевел глаза и заметил за одним из столиков странного человека в перехваченной ремнями черной гимнастерке, с закрученными вверх усами. Он был за столиком один, и вместо чайника перед ним стояла бутылка шампанского. Я решил, что это какой-то крупный большевистский начальник; не знаю, что показалось мне необычным в его волевом спокойном лице, но я несколько секунд не мог оторвать от него глаз. Он поймал мой взгляд, и я сразу же отвернулся к эстраде, где продолжался бессмысленный диалог:

— ...Что? Да зачем?
— Это мне для работы.
Символ одной из сторон бытия.
Вы, если надо, другой украдете.
Краденым правильной, думаю я?
— Так... А я думаю — что за намеки?
Вы ведь там были? За ширмой? Да?
— Знаете, вы, Родион, неглубоки,
хоть с топором. Впрочем, юность всегда
видит и суть и причину в конечном,
хочет простого — смеяться, любить,
нежно играет с петлей подплечной.
Сколько хотите?
— Позвольте спросить,
вам для чего?
— Я твержу с первой фразы —
сила, надежда, Грааль, эгрегор,
вечность, сияние, лунные фазы,
лезвие, юность... Отдайте топор.
— Мне непонятно. Но впрочем, извольте.
— Вот он... Сверкает, как пламя меж скал...
Сколько вам?
— Сколько хотите.
— Довольно?
— Десять... Пятнадцать... Ну вот, обокрал.
Впрочем, я чувствую, дело не в этих
деньгах. Меняется что-то... Уже
рушится как бы... Настигло... И ветер
холодно дует в разъятой душе.
Кто вы? Мой Бог, да вы в маске стоите!
Ваши глаза — как две желтых звезды!
Как это подлю! Снимите!

Мармеладов выдержал долгую и страшную паузу.

— Снимите!

Мармеладов одним движением сорвал маску, и одновременно с его тела слетел привязанный к маске хитон, обнажив одетую в кружевные панталоны и бюстгальтер женщину в серебристом парике с мышинной косичкой.

— Боже... Старуха... А руки пусты...

Раскольников произнес эти слова еле слышно и рухнул на пол с высоты своих котурнов.

То, что началось дальше, заставило меня побледнеть. На сцену выскочили два скрипача и бешено заиграли какой-то цыганский мотив (опять Блок, подумал я), а женщина-Мармеладов набросила на упавшего Раскольникова свой хитон, прыгнула ему на грудь и принялась душить его, возбужденно виляя кружевным задом.

На секунду мне показалось, что происходящее — следствие какого-то чудовищного заговора и все присутствующие глядят в мою сторону. Я затравленно огляделся, снова встретился взглядом с усатым человеком в черной гимнастерке и вдруг каким-то образом понял, что он все знает про гибель фон Эрнена — да чего там, знает про меня гораздо более серьезные вещи.

В этот миг я был близок к тому, чтобы вскочить со стула и кинуться прочь, и только чудовищное усилие воли удержало меня на месте. Публика вяло хлопала; некоторые смеялись и показывали пальцами на сцену, но большинство было поглощено своими разговорами и водкой.

Задушив Раскольникова, женщина в парике подскочила к краю эстрады и под сумасшедшие звуки двух скрипок принялась выплясывать, задирая голые ноги к потолку и размахивая топором. Четверо в черном, неподвижно простоявшие все действие, подхватили накрытого хитоном Раскольникова и понесли его за кулисы. У меня мелькнула догадка, что это цитата из «Гамлета», где в самом конце упоминаются четыре капитана, которым полагалось бы унести мертвого принца; странно, но эта мысль мгновенно привела меня в чувство. Я понял, что происходящее не заговор против меня — подобного никто просто не успел бы подстроить, — а обыкновенный мистический вызов. Сразу

же решив принять его, я повернулся к ушедшим в себя матросам.

— Ребята, стоп. Это измена.

Барболин поднял на меня непонимающий взгляд.

— Англичанка гадит, — наугад бросил я.

Видимо, эти слова имели для него какой-то смысл, потому что он сразу потянул с плеча винтовку. Я удержал его.

— Не так, товарищ. Погоди.

На сцене между тем опять появился господин с пилкой, сел на табурет и принялся церемонно снимать туплю. Открыв саквояж, я вынул карандаш и бланк чекистского ордера; заунывные звуки пилы подхватили меня, понесли вперед, и подходящий текст был готов через несколько минут.

— Чего пишешь-то? — спросил Жербунов. — Арестовать кого хочешь?

— Не, — сказал я, — тут если брать, так всех. Мы по-другому сделаем. Ты, Жербунов, приказ помнишь? Нам ведь не только пресечь надо, но и свою линию провести, верно?

— Так, — сказал Жербунов.

— Ну вот, — сказал я, — ты с Барболиным иди за кулисы. А я на сцену сейчас поднимусь и линию проведу. А как проведу, сигнал дам, и вы тогда выходите. Мы им сейчас покажем музыку революции.

Жербунов постучал пальцем по своей чашке.

— Нет, Жербунов, — сказал я твердо, — работать не сможешь.

Во взгляде Жербунова мелькнуло что-то похожее на обиду.

— Да ты что? — прошептал он. — Не доверяешь? Да я... Я за революцию жизнь отдам!

— Знаю, товарищ, — сказал я, — но кокаин потом. Вперед.

Матросы встали и пошли к сцене. Они ступали разлаписто и крепко, словно под ногами у них был не паркет, а кренящаяся палуба попавшего в шторм броненосца; в этот момент я испытывал к ним почти симпатию. Поднявшись по боковой лесенке, они исчезли за кулисами. Я опрокинул в рот остатки ханжи с кокаином, встал и пошел к столику, за которым сидели Толстой и Брюсов. На меня смотрели. Господа и товарищи, думал я, медленно шагая по странно раздвинувшемуся залу, сегодня я тоже имел честь перешагнуть через свою старуху, но вы не задушите меня ее выдурманными ладонями. О, черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского человека! И черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг!

— Добрый вечер, Валерий Яковлевич. Отдыхаете?

Брюсов вздрогнул и несколько секунд глядел на меня, явно не узнавая. Потом на его изможденном лице появилась недоверчивая улыбка.

— Петя? — спросил он. — Это вы? Сердечно рад вас видеть. Присядьте к нам на минуту.

Я сел за столик и сдержанно поздоровался с Толстым — мы часто виделись в редакции «Аполлона», но знакомы были плохо. Толстой был сильно пьян.

— Как вы? — спросил Брюсов. — Что-нибудь новое написали?

— Не до этого сейчас, Валерий Яковлевич, — сказал я.

— Да, — задумчиво сказал Брюсов, шныряя быстрыми глазами по моей кожанке и маузеру, — это так. Это верно. Я вот тоже... А я ведь и не знал, Петя, что вы из наших. Всегда ценил ваши стихи, особенно первый ваш сборничек, «Стихи Капитана Лебядкина». Ну и, конечно, «Песни царства «Я». Но ведь и вообразить было нельзя... Все у вас какие-то лошади, императоры, Китай этот...

— Conspiracy, Валерий Яковлевич, — сказал я. — Хотя слово это дико...

— Понимаю, — сказал Брюсов, — теперь понимаю. Хотя всегда, уверяю вас, что-то похожее чувствовал. А вы изменились. Петя. Стали такой стремительный... глаза сверкают... Кстати, вы «Двенадцать» Блока успели прочесть?

— Видел, — сказал я.

— И что думаете?

— Я не вполне понимаю символику финала, — сказал я, — почему перед красногвардейским патрулем идет Христос? Уж не хочет ли Блок распять революцию?

— Да-да, — быстро сказал Брюсов, — вот и мы с Алешей только что об этом говорили.

Услышав свое имя, Толстой открыл глаза, поднял свою чашку, но она была пуста. Нашарив на столе свисток, он поднес его к губам, но, вместо того чтобы свистнуть, опять уронил голову.

— Я слышал, — сказал я, — что он поменял конец. Теперь перед патрулем идет матрос.

Брюсов секунду соображал, а потом его глаза вспыхнули.

— Да, — сказал он, — это вернее. Это точнее. А Христос идет сзади! Он невидим и идет сзади, влача свой покосившийся крест сквозь снежные вихри!

— Да, — сказал я, — и в другую сторону.

— Вы полагаете?

— Я уверен, — сказал я и подумал, что Жербунов с Барболиным уже уснули за шторой. — Валерий Яковлевич, у меня к вам просьба. Не могли бы вы объявить, что сейчас с революционными стихами выступит поэт Фанерный?

— Фанерный? — переспросил Брюсов.

— Мой партийный псевдоним, — пояснил я.

— Да, да, — закивал Брюсов, — и как глубоко! С наслаждением послушаю сам.

— А вот этого не советую. Вам лучше сразу же уйти. Сейчас здесь стрельба начнется.

Брюсов побледнел и кивнул. Больше мы не сказали ни слова; когда пила стихла и фразник надел свою туфлю, Брюсов встал и поднялся на эстраду.

— Сегодня, — сказал он, — мы уже говорили о новейшем искусстве. Сейчас эту тему продолжит поэт Фанерный (он не удержался и закатил глаза) — хмм... прошу не путать с тигром бумажным и солдатиком оловянным... хмм... поэт Фанерный, который выступит с революционными стихами. Прошу!

Он быстро спустился в зал, виновато улыбнулся мне, развел руками, подхватил слабо сопротивляющегося Толстого и поволок его к выходу; в этот момент он был похож на отставного учителя, тянущего за собой на поводке непослушного и глупого волкодава.

Я поднялся на эстраду. На ее краю стоял забытый бархатный табурет, что было очень кстати. Я поставил на него сапог и взгляделся в притихший зал. Все лица, которые я видел, как бы сливались в одно лицо, одновременно заискивающее и наглое, замершее в гримасе подобострастного самодовольства — и это, без всяких сомнений, было лицо старухи-процентщицы, развоплощенной, но по-прежнему живой. Недалеко от эстрады сидел Иоанн Павлухин, длинноволосый урод с моноклем; рядом с ним жевала пирожок прыщавая толстуха с огромными красными бантами в пегих волосах — кажется, это и была комиссар театров мадам Малиновская. Как я ненавидел их всех в эту долгую секунду!

Я вынул из кобуры маузер, поднял его над головой, откашлялся и в своей прежней манере, без выражения глядя вперед и никак совершенно не интонируя, только делая короткие паузы между катернами, прочел стихотворение, которое написал на чекистском бланке:

Жербунов пробормотал что-то вроде «мал ты мне указывать», но все же закинул винтовку за плечо.

— Уходим, — сказал я, повернулся и пошел за кулисы.

Какие-то люди, стоявшие за ними, при нашем появлении кинулись в разные стороны. Мы с Жербуновым прошли по темному коридору, несколько раз повернули и, открыв дверь черного хода, оказались на улице, где от нас опять шарахнулись. Мы пошли к автомобилю. Морозный чистый воздух после духоты прокуренного зала подействовал на меня, как пары эфира — закружилась голова и смертельно захотелось спать. Шофер, покрытый толстым слоем снега, все так же неподвижно сидел на переднем сиденье. Я открыл дверь в кабину и обернулся.

— А где Барболин? — спросил я.

— Сейчас, — ухмыляясь, сказал Жербунов, — дело одно.

Я залез в автомобиль, откинулся на сиденье и мгновенно уснул.

Меня разбудил женский визг, и я увидел Барболина, который на руках нес из переулка картинно отбивающуюся девицу в кружевных штанишках и съехавшем набок парике с косичкой.

— Подвинься, товарищ, — сказал мне Жербунов, залезая в кабину, — пополнение.

Я подвинулся к стене. Жербунов наклонился ко мне и сказал с неожиданной теплотой в голосе:

— А я ведь тебя сначала не понял, Петька. Душу твою не увидел. А ты молодец. Хорошую речь сказал.

Я что-то пробормотал и опять уснул.

Сквозь сон до меня доносился женский хохот и скрип тормозов, угрюмый мат Жербунова и змеиное шипение Барболина — кажется, они спорили из-за этой несчастной. Потом автомобиль остановился. Я поднял голову и увидел перед собой расплывающееся и неправдоподобное лицо Жербунова.

— Спи, Петька, — гулко сказала лицо, — мы здесь выйдем. Нам с кумом поговорить надо. А тебя Иван доведет.

Я выглянул в окно. Мы стояли на Тверском бульваре, возле дома градоначальника. Медленно падал крупный снег. Барболин и дрожащая полуголая женщина были уже на улице. Жербунов пожал мне руку и вылез. Машина тронулась.

Я вдруг остро ощутил свое одиночество и беззащитность в этом мерзлом мире, жители которого норовят отправить меня на Гороховую или смутить мою душу чарами темных слов. Завтра утром, подумал я, надо будет пустить себе пулю в лоб. Последним, что я увидел перед тем, как окончательно провалиться в черную яму беспомощности, была покрытая снегом решетка бульвара — когда автомобиль разворачивался, она оказалась совсем близко к окну.

2

Собственно, решетка была не близко к окну, а на самом окне, еще точнее — на маленькой форточке, сквозь которую мне прямо в лицо падал узкий луч солнца. Я захотел отстраниться, но мне это не удалось — когда я попытался опереться о пол рукой, чтобы повернуться с живота на спину, оказалось, что мои руки скручены. На мне было похожее на саван одеяние, длинные рукава которого были связаны за спиной — кажется, такая рубашка называется смирительной.

У меня не было особых сомнений относительно происшедшего — видимо, матросы заметили в моем поведении что-то подозрительное и, когда я заснул в машине, отвезли меня в ЧК. Извиваясь всем телом, я ухитрился встать на колени, а потом сесть у стены. Моя камера имела довольно странный вид — высоко

под потолком была зарешеченная форточка, сквозь которую в комнату падал разбудивший меня луч. Стены, дверь, пол и потолок были скрыты под толстым слоем мягкой обивки, так что романтическое самоубийство в духе Дюма («еще один шаг, милорд, и я разобью голову о стену») исключалось. Видимо, чекисты завели такие камеры для особо почетных посетителей, и, должен признаться, на секунду мне это польстило.

Прошло несколько минут, в течение которых я глядел в стену, вспоминая пугающие подробности вчерашнего дня, а затем дверь растворилась.

На пороге стояли Жербунов и Барболин — но, Боже мой, в каком виде! На них были белые халаты, а у Барболина из кармана торчал самый настоящий стетоскоп. Это было намного больше, чем я мог вместить, и из моей груди вырвался нервный смех, который обожженное кокаином горло превратило в подобие сильного кашля. Барболин, стоявший впереди, повернулся к Жербунову и что-то тихо сказал. Я вдруг перестал смеяться — отчего-то мне показалось, что они собираются меня бить.

Надо сказать, что я совершенно не боялся смерти; умереть в моей ситуации было так же естественно и разумно, как покинуть театр, заплывший во время бездарного спектакля. Но чего мне не хотелось никак, так это чтобы в окончательное путешествие меня провозжали пинки и оплеухи малознакомых людей — видимо, в глубине души я не был в достаточной мере христианином.

— Господа, — сказал я, — вы, я полагаю, понимаете, что вас тоже скоро убьют. Так вот, из уважения к смерти — если даже не к моей, то хотя бы к своей собственной — прошу вас, сделайте это быстро и без издевательств. Я все равно ничего не смогу вам сообщить. Я, видите ли, частное лицо, и...

— Это что, — с ухмылкой перебил меня Жербунов. — Вот что ты вчера выдавал, это да. А какие стихи читал! Хотя сам-то помнишь?

В его манере говорить была какая-то несообразность, что-то неопределимо странное, и я решил, что он уже побаловался с утра своим балтийским чаем.

— У меня превосходная память, — ответил я и посмотрел ему прямо в глаза.

Его взгляд был несокрушимо пуст.

— Да что ты с этим мудаком разговариваешь, — тонко просипел Барболин. — Пускай Тимурыч разбирается, ему за это деньги платят.

— Пойдем, — подытожил Жербунов, подошел и взял меня под руку.

— Нельзя ли развязать мне руки? — спросил я. — Вас ведь двое.

— Да? — спросил Жербунов. — А вдруг ты душить начнешь?

От этих слов я покачулся, как от удара. Они все знали. У меня возникло почти что физическое чувство того, как слова Жербунова наваливаются на меня невыносимой тяжестью.

Барболин подхватил меня под другую руку; они легко поставили меня на ноги и выволокли в пустой полутемный коридор, где действительно пахло чем-то медицинским — может быть, кровью. Я не сопротивлялся, и через несколько минут они втолкнули меня в просторную комнату, усадили на табурет в ее центре и исчезли за дверью.

Прямо напротив меня стоял большой письменный стол, заваленный множеством папок конторского вида. За столом сидел интеллигентного вида господин в белом халате, таком же, как на Жербунове и Барболине, и внимательно слушал черную эбонитовую трубку телефонного аппарата, прижимая ее к уху плечом. Его руки механически перебирали какие-то бумаги; время

от времени он кивал головой, но вслух ничего не говорил. На меня он не обратил ни малейшего внимания. Еще один человек в белом халате и зеленых штанах с красными лампасами сидел на стуле у стены, между двумя высокими окнами, на которые были спущены пыльные портьеры.

Что-то неуловимое в обстановке этой комнаты заставило меня вспомнить Генеральный штаб, где я часто бывал в шестнадцатом году, пробуя себя на ниве патриотической журналистики. Вот только над головой господина в белом халате вместо портрета Государя (или хотя бы этого Карла, уже успевшего украсть кораллы у половины Европы) висело нечто настолько жуткое, что я закусил губу.

Это был выдержанный в цветовой гамме российского флага плакат на большом куске картона. Он изображал синего человека с обычным русским лицом, рассеченной грудью и спиленной крышкой черепа, под которой краснел открытый мозг. Несмотря на то что его внутренности были вынуты из живота и пронумерованы латинскими цифрами, в его глазах сквозило равнодушие, а на лице застыла спокойная полуулыбка — или, может быть, так казалось из-за широкого разреза на щеке, сквозь который была видна часть челюсти и зубы, безупречные, как на рекламе германского зубного порошка.

— Ну давай, — буркнул господин в халате и бросил трубку на рычаг.

— Простите? — сказал я, опуская на него глаза.

— Прощаю, прощаю, — сказал он. — Имея некоторый опыт общения с вами, напомню, что мое имя — Тимур Тимурович.

— Петр. По понятным причинам не могу пожать вам руки.

— Это и не требуется. Эх, Петр, Петр. Как же вы дошли до жизни такой?

Его глаза смотрели на меня дружелюбно и даже с некоторым сочувствием; бородка клинышком делала его похожим на земского идеалиста, но я многое знал о чекистских ухватках, и в моей душе не мелькнуло даже тени доверия.

— Ни до какой особенной жизни я не доходил, — сказал я. — А уж если вы так ставите вопрос, то дошел вместе с другими.

— Это с кем же именно?

Так, подумал я, началось.

— Вы, видимо, ждете от меня каких-то адресов и явок, правильно я вас понимаю? Но поверьте, мне совершенно нечем вас обрадовать. Моя история с самого детства — это рассказ о том, как я бегу от людей, а в этом контексте о других следует говорить только категориально, понимаете?

— Разумеется, — сказал он и что-то записал на бумажку. — Без всяких сомнений. Но в ваших словах противоречие. Сначала вы говорите, что дошли до своего нынешнего состояния вместе с другими, а затем — что бежите от людей.

— Помилуйте, — ответил я, не без риска для равновесия закидывая ногу за ногу, — противоречие только кажущееся. Чем сильнее я пытаюсь избежать общества людей, тем меньше мне это удается. Кстати говоря, причину я понял только недавно — шел мимо Исакия, поглядел на купол — знаете, ночь, мороз, звезды... да... и стало ясно.

— И в чем причина?

— Да в том, что если пытаешься убежать от других, то поневоле всю жизнь идешь по их зыбким путям. Уже хотя бы потому, что продолжаешь от них убегать. Для бегства нужно твердо знать не то, куда бежишь, а откуда. Поэтому необходимо постоянно иметь перед глазами свою тюрьму.

— Да, — сказал Тимур Тимурович. — Да. Когда я представляю себе, сколько с вами будет возни, мне становится страшно.

Я пожал плечами и поднял глаза на плакат над его головой. Все же, видимо, это была не гениальная метафора, а какое-то медицинское пособие. Может быть, часть анатомического атласа.

— Вы знаете, — продолжил Тимур Тимурович, — я ведь человек опытный. Через меня очень много народу тут проходит.

— О, не сомневаюсь, — сказал я.

— И вот что я вам скажу. Меня не столько интересует формальный диагноз, сколько та внутренняя причина, по которой человек выпадает из своей нормальной социально-психической ниши. И, как мне кажется, ваш случай очень прозрачный. Вы просто не принимаете нового. Вы помните, сколько вам лет?

— Разумеется. Двадцать шесть.

— Ну вот видите. Вы как раз принадлежите к тому поколению, которое было запрограммировано на жизнь в одной социально-культурной парадигме, а оказалось в совершенно другой. Улавливаете, о чем я говорю?

— Еще бы, — ответил я.

— Таким образом, налицо серьезный внутренний конфликт. Хочу сразу вас успокоить — с этим сталкиваетесь не вы один. И у меня самого имеется подобная проблема.

— Вот как? — спросил я с несколько издевательской интонацией. — И как же вы ее решаете?

— Обо мне потом, — сказал он, — давайте сначала разберемся с вами. Как я уже сказал, этот подсознательный конфликт есть сейчас практически у каждого. Я хочу, чтобы вы осознали его природу. Понимаете ли, мир, который находится вокруг нас, отражается в нашем сознании и становится объектом ума. И ког-

да в реальном мире рушатся какие-нибудь устоявшиеся связи, то же самое происходит и в психике. При этом в замкнутом объеме вашего «Я» высвобождается чудовищное количество психической энергии. Это как маленький атомный взрыв. Но все дело в том, в какой канал эта энергия устремляется после взрыва.

Разговор становился любопытным.

— А какие, позвольте спросить, бывают каналы?

— Ну, если говорить грубо, их два. Психическая энергия может двигаться, так сказать, наружу, во внешний мир, устремляясь к таким объектам как... ну, скажем, кожаная куртка, роскошный автомобиль и так далее. Многие ваши сверстники...

Я вспомнил фон Эрнена и вздрогнул.

— Я понял. Не продолжайте.

— Прекрасно. А во втором случае эта энергия по той или иной причине остается внутри. Это самое неблагоприятное развитие событий. Представьте себе быка, запертого в музейном зале...

— Прекрасный образ.

— Спасибо. Так вот, этот зал с его хрупкими и, возможно, прекрасными экспонатами и есть ваша личность, ваш внутренний мир. А бык, который по нему мечется, — это высвободившаяся психическая энергия, с которой вы не в силах совладать. Та причина, по которой вы здесь.

Он определенно умен, подумал я. Но какой подлец.

— Я вам скажу больше, — продолжал Тимур Тимурович. — Я много думал о том, почему одни люди оказываются в силах начать новую жизнь — условно назовем их новыми русскими, хотя я недолюбиваю это выражение...

— Действительно, на редкость гадкое. К тому же перерванное. Если вы цитируете Чернышевского, то он, кажется, называл их новыми людьми.

— Возможно. Но вопрос, тем не менее, остается — почему одни устремляются, так сказать, к новому,

а другие так и остаются выяснять несуществующие отношения с тенями угасшего мира...

— А вот это великолепно. Почти Бальмонт.

— Еще раз спасибо. Ответ, на мой взгляд, очень прост. Боюсь даже, что вам он покажется примитивным. Начну издалека. В жизни человека, страны, культуры и так далее постоянно происходят метаморфозы. Иногда они растянуты во времени и незаметны, иногда принимают очень резкие формы — как сейчас. И вот именно отношение к этим метаморфозам определяет глубинную разницу между культурами. Например, Китай, от которого вы без ума...

— С чего вы это взяли? — спросил я, чувствуя, как за моей спиной сжимаются туго стянутые рукавами кулаки.

— Так вот же ваше дело, — сказал Тимур Тимурович, поднимая со стола самую толстую папку. — Как раз его перелистывал.

Он бросил папку назад.

— Да, Китай. Если вы вспомните, то все их мировосприятие построено на том, что мир деградирует, двигаясь от некоего золотого века во тьму и безвременье. Для них абсолютный эталон остался в прошлом, и любые новшества являются злом в силу того, что уводят от этого эталона еще дальше.

— Простите, — сказал я, — это вообще свойственно человеческой культуре. Это присутствует даже в языке. Например, в английском. Мы, что называется, descendants of the past¹. Это слово обозначает движение вниз, а не подъем. Мы не ascendants².

— Возможно, — сказал Тимур Тимурович. — Из иностранных я знаю только латынь. Но важно здесь другое. Когда такой тип сознания воплощается в отдель-

¹ To descend — слушаться, descendants — потомки (англ.).

² To ascend — подниматься, ascendants — предки (англ.).

ной личности, человек начинает воспринимать свое детство как некий потерянный рай. Возьмите хотя бы Набокова. Эта его бесконечная рефлексия по поводу первых лет жизни — классический пример того, о чем я говорю. И классический пример выздоровления, переориентации сознания на реальный мир — это та, я бы сказал, контрсублимация, которую он мастерски осуществил, трансформировав свою тоску по недостижимому и, может быть, никогда не существовавшему раю в простую, земную и немного грешную страсть к девочке-ребенку. Хотя с первого...

— Простите, вы о каком Набокове? — перебил я. — О лидере конституционных демократов?

Тимур Тимурович с подчеркнутым терпением улыбнулся.

— Нет, — сказал он, — я о его сыне.

— Это о Вовке из Тенишевского? Вы что, его тоже взяли? Но ведь он же в Крыму! И при чем тут девочки? Что вы несете?

— Хорошо, хорошо. В Крыму, — сказал Тимур Тимурович. — В Крыму. Мы говорили не о Крыме, а о Китае. И речь у нас шла о том, что для классической китайской ментальности любое движение вперед будет деградацией. А есть другой путь — тот, по которому всю свою историю идет Европа, что бы вы там ни говорили о языке. Тот путь, на который уже столько лет пытается встать Россия, вновь и вновь совершая свой несчастный алхимический брак с Западом.

— Замечательно.

— Спасибо. Здесь идеал мыслится не как оставшийся в прошлом, а как потенциально существующий в будущем. И это сразу же наполняет существование смыслом. Понимаете? Это идея развития, прогресса, движения от менее совершенного к более совершенному. То же самое происходит на уровне отдельной личности, даже если этот индивидуальный прогресс

принимает такие мелкие формы, как, скажем, ремонт квартиры или смена одного автомобиля другим. Это дает возможность жить дальше. А вы не хотите платить за это «дальше». Метафорический бык, о котором мы говорили, носится по вашей душе, сокрушая все на своем пути, именно потому, что вы не готовы отдаться реальности. Вы не хотите выпустить быка на свободу. Вы презираете те позы, которые время повелевает нам принять. И именно в этом причина вашей трагедии.

— Все, что вы говорите, конечно, интересно, но слишком запутанно, — сказал я, покосившись на военного у стены. — И потом, у меня затекли руки. А что касается прогресса, то я могу вам коротко объяснить, что это такое на самом деле.

— Сделайте милость.

— Очень просто. Если сказать все то, о чем вы говорили, короче, то выйдет, что некоторые люди приспособляются к переменам быстрее, чем другие, и все. А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему эти перемены вообще происходят?

Тимур Тимурович пожал плечами.

— Так я вам скажу. Вы, надеюсь, не будете спорить с тем, что чем человек хитрее и бессовестнее, тем легче ему живется?

— Не буду.

— А легче ему живется именно потому, что он быстрее приспособляется к переменам.

— Допустим.

— Так вот, существует такой уровень бессовестной хитрости, милостивый государь, на котором человек предугадывает перемены еще до того, как они произошли, и благодаря этому приспособляется к ним значительно быстрее всех прочих. Больше того, самые изощренные подлецы приспособляются к ним еще до того, как эти перемены происходят.

— Ну и что?

— А то, что все перемены в мире происходят исключительно благодаря этой группе наиболее изощренных подлецов. Потому что на самом деле они вовсе не предугадывают будущее, а формируют его, переползая туда, откуда, по их мнению, будет дуть ветер. После этого ветру не остается ничего другого, кроме как действительно подуть из этого места.

— Почему это?

— Ну как же. Я же ведь вам объяснил, что говорю о самых гнусных, пронырливых и бесстыдных подлцах. Так неужели вы думаете, что они не сумеют убедить всех остальных, что ветер дует именно оттуда, куда они переползли? Тем более, что ветер, о котором идет речь, дует только внутри этой идиомы... Но я что-то слишком долго говорю. По правде сказать, я был намерен молчать до самого расстрела.

Военный у стены крикнул и со значением посмотрел на Тимура Тимуровича.

— Я вас не познакомил, — сказал Тимур Тимурович. — Это полковник Смирнов, военный психиатр. Он здесь по другому поводу, но вашим случаем тоже заинтересовался.

— Очень польщен, полковник, — сказал я, наклоня голову.

Тимур Тимурович наклонился над телефоном и нажал какую-то кнопку.

— Сонечка, пожалуйста, четыре кубика, как обычно, — сказал он в трубку. — Прямо у меня, пока он в рубашке. Да, а потом сразу в палату.

Повернувшись ко мне, Тимур Тимурович сокрушенно вздохнул и почесал бороду.

— Пока нам придется продолжить фармакологический курс, — сказал он. — Я вам скажу честно, что рассматриваю это как свое поражение — пусть маленькое, но все же поражение. Я считаю, что хороший

психиатр должен избегать лекарств — они... Ну как это вам объяснить... Как косметика. Не решают проблем, а только прячут их от постороннего глаза. Но в вашем случае не могу придумать ничего другого. Вы должны сами прийти мне на помощь. Ведь чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку — надо, чтобы он в ответ подал свою.

Сзади открылась дверь, и я услышал тихие шаги за спиной. Мягкие женские пальцы взяли меня за плечо, и я почувствовал, как холодное маленькое жало, пройдя сквозь ткань смирительной рубашки, впилося мне в кожу.

— Кстати, — зябко потирая руки, сказал Тимур Тимурович, — хочу заметить, что на дурдомовской фене расстрелом называют не то, что мы колем вам — то есть обычную смесь аминазина с перепитином, а так называемый сульфазинный крест, то есть четыре инъекции в... Впрочем, надеюсь, что до этого у нас не дойдет.

Я не повернул головы, чтобы посмотреть на женщину, делавшую мне укол. Я глядел на расчлененного сине-красно-белого человека на плакате, и когда он тоже начал глядеть на меня, улыбаться и подмигивать, откуда-то издали донесся голос Тимура Тимуровича:

— Да, прямо в палату. Нет, мешать он не будет. Все-таки какое-то воздействие... Он ведь и сам скоро будет сидеть на этом стуле.

Чьи-то руки (кажется, это опять были Жербунов и Барболин) сдернули с меня рубашку, подняли за руки и, как мешок с песком, переложили на что-то вроде носилок. Затем перед моими глазами мелькнул дверной косяк, и мы оказались в коридоре.

Мое онемевшее тело перемещалось вдоль высоких белых дверей с номерами, а сзади раздавались искаженные голоса и смех переодетых матросов — кажется, они бесстыдно обсуждали женщин. Потом я увидел

склоненное надо мной лицо Тимура Тимуровича — оказывается, он шел рядом.

— Вы, Петр, конечно, не Пушкин, но все же мы решили вернуть вас в третье отделение, — сказал он и довольно засмеялся. — Там сейчас еще четыре человека, так что с вами будет пять. Вы знаете, что такое групповая терапия по профессору Канашникову? То есть по мне?

— Нет, — с трудом промычал я.

Мелькание дверей перед глазами стало непереносимым, и я закрыл глаза.

— Говоря по-простому, это совместная борьба больных за выздоровление. Представьте себе, что ваши проблемы на время становятся коллективными, то есть каждый из участников сеанса в течение некоторого срока разделяет ваше состояние. Так сказать, отождествляется с вами. Как вы думаете, к чему это приведет?

Я молчал.

— Очень просто, — продолжал Тимур Тимурович. — После того как сеанс заканчивается, возникает эффект отдачи — совместный выход участников из состояния, только что переживавшегося ими как реальность. Это, если хотите, использование свойственного человеку стадного чувства в медицинских целях. Те, кто участвует в сеансе вместе с вами, могут проникнуться вашими идеями и настроениями на некоторое время, но, как только сеанс кончается, они возвращаются к своим собственным маниям, оставляя вас в одиночестве. И в эту секунду — если удастся достичь катарсического выхода патологического психоматериала на поверхность — пациент может сам ощутить относительность своих болезненных представлений и перестать отождествляться с ними. А от этого до выздоровления уже совсем близко.

Я слабо понимал смысл его слов — если допустить, что он был. Но кое-что все же застревало в моем со-

знании. Укол действовал все сильнее — я уже ничего не видел вокруг, мое тело практически потеряло чувствительность, а душа погрузилась в тяжелое и тупое безразличие. Самым неприятным в нем было то, что оно словно бы овладело не мной, а каким-то другим человеком, в которого меня превратил впрыснутый мне препарат. А этого другого человека, как я с ужасом ощутил, и в самом деле можно было вылечить.

— Конечно, можно, — подтвердил Тимур Тимурович. — И вылечим, не сомневайтесь. Вообще, гоните от себя само это понятие — «сумасшедший дом». Воспринимайте это просто как интересное приключение. Тем более что вы литератор. Я тут порой такое слышу, что прямо тянет записать. Вот сейчас, например. В вашей палате будет крайне интересное событие — групповой сеанс с Марией. Вы ведь помните, о ком я говорю?

Я отрицательно покачал головой.

— Ну конечно, конечно, — сказал он. — Все равно случай весьма интересный. Я бы сказал, просто-таки шекспировская психодрама. Столкновение таких разных на первый взгляд объектов сознания, как мексиканская мыльная опера, голливудский блокбастер и неокрепшая русская демократия. Знаете эти мексиканские телесериалы «Просто Мария»? Тоже не помните? Понятно. Короче, считает себя героиней, этой самой Марией. Было бы самым банальным случаем, если бы не подсознательное отождествление с Россией плюс комплекс Агамемнона с анальной динамикой. Короче, прямо по моему профилю — раздвоение ложной личности.

О боже, подумал я, какие длинные у них коридоры.

— Вы, конечно, будете не в состоянии принять полноценное участие в сеансе, — продолжал голос Тимура Тимуровича, — так что можете спать. Но не забывайте, что в скором времени вам предстоит стать рассказчиком самому.

Кажется, мы въехали в какую-то комнату — заскрипела дверь, и я услышал обрывок смолкшего разговора. Тимур Тимурович поздоровался с темной, и ему ответило несколько голосов. Меня тем временем переложили на невидимую кровать, подоткнули под мою голову подушку и накинули сверху одеяло. Некоторое время я прислушивался к долетавшим до меня фразам (Тимур Тимурович объяснял каким-то людям, почему меня так долго не было), а потом полностью отключился от происходящего, потому что меня посетила одна чрезвычайно знаменательная галлюцинация личного характера.

Не знаю, сколько времени я провел наедине с совестью — в какой-то момент мое внимание привлек монотонный голос Тимура Тимуровича.

— Внимательно смотрите на этот шарик, Мария. Вы совершенно спокойны. Если вы ощущаете во рту сухость, это объясняется действием введенного вам препарата и скоро пройдет. Вы слышите меня?

— Да, — ответил голос, который показался мне больше похожим на высокий мужской, чем на низкий женский.

— Кто вы?

— Мария, — ответил голос.

— Как ваша фамилия?

— Просто Мария.

— Сколько вам лет?

— Дают восемнадцать, — ответил голос.

— Вы знаете, где вы находитесь?

— Знаю. В больнице.

— А почему вы здесь оказались?

— От удара, почему же еще. Непонятно, как я вообще в живых осталась. Я и подумать не могла, что он такой человек.

— Обо что же вы ударились?

— Об Останкинскую телебашню.

— Вот как. А как это произошло?

— Долго рассказывать.

— Ничего, — сказал Тимур Тимурович ласково, — мы не спешим никуда. Вы расскажите, а мы послушаем. С чего все началось?

— Началось с того, что я пошла погулять по набережной.

— А где вы были до этого?

— До этого я нигде не была.

— Хорошо, продолжайте.

— Ну чего. Иду я, значит, иду — а вокруг дым какой-то. И чем дальше иду, тем его больше...

Я вдруг заметил, что чем дальше я вслушиваюсь в долетающие до меня слова, тем тяжелее доходит до меня их смысл. Было такое ощущение, что этот смысл привязан к ним на веревках и эти веревки становятся все длиннее и длиннее. Я не успевал за разговором, но это было неважно, потому что одновременно я стал видеть некое подобие зыбкой картинке — набережную, затянутую клубами дыма, и идущую по ней женщину с широкими мускулистыми плечами, больше похожую на переодетого мужика. Я знал, что ее зовут Мария, и мог одновременно видеть ее и смотреть на мир ее глазами. В следующую минуту я понял, что каким-то образом воспринимаю все ее мысли и чувства: думала она о том, что, как ни крути, прогулка не получается, потому что солнечное утро, в самом начале которого она появилась в страдающем мире, сменилось черт знает чем. И произошло это так плавно, что она даже не заметила, как это случилось.

Сначала в воздухе запахло гарью, и Мария решила, что где-то жгут опавшие листья. Потом к этому запаху примешалась вонь горелой резины, а дальше на нее стали наплывать волны похожего на туман дыма, который становился гуще и гуще, пока не скрыл вокруг все, кроме

чугунного ограждения набережной и нескольких метров окружающего пространства.

Вскоре Мария стало казаться, что она идет по длинному залу художественной галереи – сегменты окружающего мира, которые время от времени появлялись из окутавшей мир мглы, своей затасканной обыденностью очень походили на объекты актуального искусства. Ей навстречу выплывали таблички с надписью «обмен валюты», изрезанные перочинными ножами скамейки и огромное количество пустых банок, свидетельствовавших о том, что новое поколение в своей массе выбирает все-таки пиво.

Из дыма выныривали и опять ныряли в него какие-то беспокойные люди с автоматами в руках. Они делали вид, что не замечают Марию, и она платила им тем же. И без них было достаточно тех, кто помнил и думал о ней. Сколько их было – миллионы? Десятки миллионов? Мария точно не знала их числа, но была уверена, что если бы все сердца, в которых ее прописала судьба, ударили бы в унисон, то их слившийся шум оказался бы гораздо громче, чем оглушительные взрывы за рекой.

Мария оглянулась и сощурила свои лучистые глаза, пытаясь понять, в чем дело.

Где-то неподалеку – где именно, видно не было из-за дыма – время от времени раздавался грохот, и вслед за каждым его раскатом доносился собачий лай и шум множества голосов, как бывает на стадионе после гола. Мария не знала, что думать по этому поводу – может быть, за рекой снимали кино, может быть, новые русские разбирались, кто из них самый новый. Поскорей бы уж поделили все, подумала она со вздохом, а то сколько еще молодых красивых ребят упадет на асфальт и зальет его кровью из пробитого сердца.

Мария стала думать о том, как облегчить невыносимое бремя этой жизни всем тем, кто Бог знает зачем корчится сейчас в черных клубах дыма, закрывших небо и солнце. Ей в голову приходили ясные, светлые, неза-

мысловатые образы – вот она, в простом платье, входит в скромную квартиру, прибранную для такого случая хозяйками. А вот и сами хозяева – сидят за столом возле самовара и влюбленно смотрят на нее, и она знает, что ничего не нужно говорить, нужно просто сидеть напротив и ласково глядеть на них, по возможности не обращая внимания на стрекочущую камеру. Или так: больничная палата, перебинтованные люди, лежащие на неудобных койках, и ее изображение, висящее на стене в таком месте, чтобы видно было всем – с коек смотрят на нее и на время забывают о своих бедах и болях...

Все это было прекрасно, но она смутно понимала, что этого недостаточно – нет, в этом мире нужна была сила, суровая и непреклонная, способная, если надо, противостоять злу. Но где взять эту силу? И какой она должна быть? Мария не знала ответа на эти вопросы, но чувствовала, что именно для этого она и идет сейчас по набережной в этом источающем страдание городе.

Порыв ветра на секунду разогнал окруживший ее дым, и на Марию упал солнечный луч. Она заслонилась от него ладонью и вдруг поняла, где искать ответ – конечно же, он был в тех бесчисленных сердцах и умах, которые призвали ее сюда и заставили воплотиться на этой дымной набережной. Все они как бы сливались в один океан сознания, через миллионы глаз глядящий на телеэкран, и весь этот океан был открыт ее взору. Она оглядела его и сначала не увидела ничего, что могло бы помочь. Нет, конечно, в этом океане сознания была представлена всепобеждающая сила, и в большинстве случаев – примерно одинаково, так, что складывался некий общий образ: молодой человек с небольшой головой и широкими плечами, в двубортном малиновом пиджаке, стоящий, широко расставив ноги, у длинного приземистого автомобиля. Этот автомобиль был очень смутным и как бы размазанным в воздухе, потому что все те, чьи души видела Мария, представляли на его месте разные модели. То же касалось

и лица молодого человека – оно было очень приблизительным, только прическа, чуть кудрявый каштановый ежик, получилась немного четче. Зато пиджак прорисовался с чрезвычайной отчетливостью, и можно было бы даже, чуть напрягшись, прочесть надписи на золотых пуговицах. Но Мария не стала этого делать. Дело ведь было не в том, что написано на пуговицах, а в том, как эту всепобеждающую силу соединить с ее кроткой любовью.

Мария остановилась и оперлась на одну из гранитных тумб, разделявших чугунные решетки ограды. Нужно было снова искать ответ в доверившихся ей умах и душах, но в этот раз – Мария знала это совершенно точно – усредненные мысли не годились. Надо было...

«Должна же там быть хоть одна умная баба», – подумала она.

И эта умная баба почти сразу нашлась. Мария не знала, как ее зовут, кто она и даже как она выглядит – мелькнули только на секунду высокие книжные шкафы, заваленный бумагами стол с пишущей машинкой и висящая над ним фотография человека с чудовищными вьющимися усами и мрачным взглядом – все это было дрожащим, искривленным и черно-белым, словно Мария видела это изнутри совсем старого телевизора с экраном не больше сигаретной пачки, который к тому же стоял не в центре комнаты, а где-то в углу. Но зрительные образы исчезли слишком быстро, чтобы Мария успела задуматься над увиденным, а потом на смену им пришли мысли.

Мария не поняла почти ничего из того вихря понятий, который ей открылся; к тому же этот вихрь был каким-то затхлым и мрачным, словно волна пыли, которая поднимается, когда из чулана выпадает старая ширма. Мария заключила, что имеет дело с сильно замусоренным и не вполне нормальным сознанием, и, когда все кончилось, испытала большое облегчение. Улов, оставшийся в розовой пустоте ее души, состоял из не до конца яс-